

многих стихотворениях и в трилогии о Виталине. Последняя — по сути дела настоящий апофеоз типа благородного, великодушного эгоиста — была целиком основана на автобиографических материалах. Все три рассказа содержали отрывки о прошлом Виталина, которые вполне соответствовали григорьевским стихотворениям 1843—1844 гг. В рассказ «Мое знакомство с Виталиным» вошел дневник главного героя («Записки Виталина»), повторяющий сцены и психологические детали григорьевского дневника «Листки из рукописи скитающегося софиста». Тема эгоизма, присутствующая здесь в условно осуждающей форме («Я эгоист — да! Но я сам мучусь своим эгоизмом, я бы так не хотел быть эгоистом» [5, с. 87]), явилась — уже программно — в другом дневнике Виталина, в «Записках Виталина» из «Человека будущего» («Я эгоист — это говорили мне с детства, и это я сам давно знаю... Уверен только, что мне самому было бы очень хорошо, когда бы другие в отношении ко мне были такими же, как я, эгоистами» [5, с. 115]) и в последнем рассказе «Офелия» («Он всегда чрезвычайно любил, когда его уличали в эгоизме. Да и как не любить эгоизма? Эгоизм — начало жизни, ибо эгоизм есть любовь» [5, с. 149]). Но ведь здесь эгоизм восхвалял автор-рассказчик, друг и наперсник главного героя, разъясняющий его «философию» жизни. Эти два лица являлись близкими друзьями, и лишь оттенок взаимной иронии разделял их голоса. Ясно, однако, что, применяя прием раздвоения, Григорьев приобретал право на критику и суд над той стороной своей жизни, которую он считал типической для своего поколения.

Показательно, что в последующих рассказах, развивающих эту тему, тип эгоиста постепенно приобретал отрицательные черты, становясь сухим развратником, и одновременно лишался автобиографического значения. В повести «Один из многих», например, Григорьев придал кое-какие черты собственного характера слабому Севскому и паразиту Антоше, на которых личность эгоиста оказывала злое влияние. В последней повести, «Другой из многих», Григорьева легко можно узнать в молодом Чабрине, который сначала поддавался обаянию развратного эгоиста Имеретинова, а потом, освободившись от его влияния, убил его на дуэли. Углубление в анализ значения эгоизма в современном обществе привело к существенным изменениям: в портрете эгоиста лицо его дурных учителей заменило авторские черты. И несмотря на стремление выяснить культурные истоки современного эгоизма (см. рассказы о детстве Зваинцева и Имеретинова), Григорьев вполне отдавал себе отчет в историческом бессилии такого типа (чему соответствует поражение Имеретинова в фабуле «Другого из многих»).

Кризис 1847—1848 гг. и новое, критическое отношение к личностному литературному течению, характеризующее григорьевскую позицию начиная с 1847 г., а в особенности в период «Москвитянина», сам Григорьев связывал с чтением гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями» [6, с. 106], и это, несомненно, правда. Но мы можем утверждать, что само восприятие книги и выводы, сделанные из нее, были обусловлены результатами процесса критической проверки, осуществленной прежде всего в рассказах 1845—1846 гг.

Если критическая сторона григорьевского литературного творчества не сразу уловима, очевидными являются поэтические компоненты органической критики. Американский ученый Р. Виттакер, который уделил особое внимание этой стороне григорьевской критики³, кроме господствующей роли интуиции подчеркнул мистическую веру в силу слова и свободу григорьевской манеры писания [3, р. 331—335, 196]. Виттакер также глубоко проанализировал значение субъективизма и автобиографизма органической критики [3, р. 99—103]. Мотивы собственных лирических стихотворений помогали критику объяснить сложные явления рус-

³ См. также [4, 21, 22].